

Леонид ЗОРИН

Экран и сцена.
— 1991. — 12 семим.
(~37). — С. 15.

ПОСЛЕ БЕДЫ

Однажды меня пригласили в журнал «Театр». Здесь я узнал веселую новость. По требованию отдела культуры Центрального Комитета партии «Алпатова» вынули из февральского номера. По мнению высших идеологов, я противопоставил «народ» (то есть героя пьесы) «власти» (его непосредственному начальству). Обескураженные сотрудники ввели меня в кабинет Погодина. Ответственный секретарь редакции сказала с вымученной грубоватостью:

— Поплачьте вместе.

И оставила нас.

Погодин сидел насупленный, темный. Его полуслепые глаза буравили какой-то листок.

— Ну что? — сказал он со злой ухмылкой. — Ждете, что буду вас утешать? Может быть, объяснений желаете? Нет, это вы уж мне объясните. Вы у нас все же племя младое, можно сказать, новой формации. Это ведь вам все, что делалось, нравилось. И то, как вами руководили, вели от одной победы к другой! И как доносили, и как сажали. Как били морганистов и марровцев, космополитов и докторов? Евреев вот не успели выселить, «спасая от народного гнева», не вывезли в теплушках в Сибирь, каких-то двух-трех недель не хватило. Вам все это нравилось, разумеется! Теперь вы хотите, чтоб я вас поглаживал да слезки утирал. Не дождетесь!

Я понимал, что он разговаривает не со мной, а с собой самим, и молчал.

— А я вам говорю: поделом! В лес ходите, на волка не жалуйтесь! Пошли в городские сумасшедшие, так и вертятся на сновороде. Всем на потеху. Ваши друзья то-то рады, то-то довольны! Нашли все же мальчика для битья, подзуживают из подворотен: давай, давай, старайся, мы за тебя. Нет, милый мой, я вам не плакальщик.

Мое безмолвие его словно пришпоривало:

— Я не из тех, которых бьют. Я сам могу при случае врезать. Поэтому я пьесы пишу для сцены, а не для сановных нужников, поэтому я журнал имею. А вы — вперед! — исправляйте нравы.

Утомившись, он замолчал. Потом негромко проговорил:

— Здоровьишко — что? Совсем никуда?

— Сейчас лучше.

— Денег не надо?

— Нет, — сказал я.

Это было неправдой. Безденежье у меня было лютое.

Мы простились. За все время знакомства я не испытывал к нему столько сочувствия, как во время этого монолога. Я видел, что и впрямь ему скверно. В том обществе, в котором мы жили, разница в нашем положении была громадной, и все же в тот час я кожей почувствовал зыбкость и призрачность его слепительного благополучия. Яркий и умный человек был и одинок, и несчастлив, видимо, в нем уже совершался непосильный для него поворот.

Еще недавно на пышном форуме он убежденно восклицал: «С каким восторгом и энтузиазмом мы, пришедшие в театр из жизни, из самой ее кипящей гущи, строили нашу драматургию, возводили ее могучий дом», и видно было, что это строительство представлялось ему действительно важным, в самом деле значительным, необходимым — и вот началась переоценка.

Естественно, он и потом не сдавался мыслям, одолевшим в бессонницу, бодрился, помню, как через год-полтора он пригласил меня на премьеру возобновленных «Аристократов»:

— Взгляните. Веселенькое зрелище.

И все же, думаю, быстро он понял, что мало кому теперь нужны и эта ода лесоповалам, и ода человеку с ружьем, и все его новые картонные опусы. Он их писал один за другим, словно боясь остановиться, словно глуша свое смятение, писал небрежно, вполне ремесленнически, в них — к его чести и несчастью — не было уже и подобия былого «восторга и энтузиазма». Помню одно такое действо, наспех сваленное из ваты, названное точно в насмешку «Цветы живые», помню премьеру — мертвый зал и чувство стыда.

Последние дни его были ужасны. Печень его была больна, и он давно уже ходил в трезвенниках — стакан водки мог стать смертельным. Все зная, он пренебрег запретом — ни жажды жизни, ни воли к жизни в нем, судя по всему, уже не было. В две недели его не стало.